

**Федор Михайлович Достоевский**  
**ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ**  
**Идиот. Преступление и**  
**наказание**  
**Иллюстрированное издание**

**Идиот**

**Часть первая**

**I**

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледножелтые, под цвет тумана.

В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого

окна, два пассажира, — оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широко сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонизировавшее с нахальной и грубою улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, покрытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой, ноябрьской русской ночи, к которой,

очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдкунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Владелец плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до-синя иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, — всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец,

спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:

– Зябко?

И повел плечами.

– Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью, – и заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.

– Из-за границы что ль?

– Да, из Швейцарии.

– Фью! Эк ведь вас!..

Черноволосый присвистнул и захохотал.

Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, в роде падучей или Виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмеялся; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «что же, вылечили?» – белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».

– Хе! Денег что, должно быть, даром

переплатили, а мы-то им здесь верим, – язвительно заметил черномазый.

– Истинная правда! – ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто в роде закорузлого в подьячестве чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом: – истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!

– О, как вы в моем случае ошибаетесь, – подхватил швейцарский пациент, тихим и примиряющим голосом; – конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да два почти года там на свой счет содержал.

– Что ж, некому платить что ли было? – спросил черномазый.

– Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.

– Куда же приехали-то?

– То-есть, где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право... так...

– Не решились еще?

И оба слушателя снова захохотали.

– И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? – спросил черномазый.

– Об заклад готов биться, что так, – подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, – и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить.

Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.

– Узелок ваш всё-таки имеет некоторое значение, – продолжал чиновник, когда нахотались досыта (замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость), – и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но... если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Епанчина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь, по рассеянности... что очень и очень свойственно человеку, ну хоть... от излишка воображения.

– О, вы угадали опять, – подхватил белокурый молодой человек, – ведь действительно почти

ошибаюсь, то-есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал.

– Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм... по крайней мере, простодушны и искренны, а сие похвально! Гм... генерала же Епанчина знаем-с, собственно потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с...

– Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев, – и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина всезнайку.

Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом: «всё знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную: где служит такой-то? с

кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д, и т. д, и всё в этом роде. Большею частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем, многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не помнил чему смеялся.

— А позвольте, с кем имею честь... — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.



– Князь Лев Николаевич Мышкин, – отвечал тот с полною и немедленною готовностью.

– Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с, – отвечал в раздумьи чиновник, – то-есть я не об имени, имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно, я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.

– О, еще бы! – тотчас же ответил князь: – князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Епанчина очутилась тоже из княжен Мышкиных, тоже последняя в своем роде...

– Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы оборотили, – захихикал чиновник.

Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур.

– А представьте, я совсем не думая сказал, – пояснил он, наконец, в удивлении.

– Да уж понятно-с, понятно-с, – весело поддакнул чиновник.

– А что вы, князь, и наукам там обучались, у профессора-то? – спросил вдруг черномазый.

– Да... учился...

– А я вот ничему никогда не обучался.

– Да ведь и я так кой-чему только, – прибавил князь, чуть не в извинение. – Меня по болезни не находили возможным систематически учить.

– Рогожиных знаете? – быстро спросил черномазый.

– Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?

– Да, я Рогожин, Парфен.

– Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных... – начал было с усиленною важностью чиновник.

– Да, тех, тех самых, – быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.

– Да... как же это? – удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное: – это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил?

– А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона чистого капиталу оставил? – перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть